



Александр Викорук

ЛЮБОВЬ ОЛИГАРХОВ

БЫЛЬ И

НЕБЫЛИЦЫ

Александр Викорук
**Любовь олигархов.
Быль и небылицы**

«Издательские решения»

Викорук А.

Любовь олигархов. Быль и небылицы / А. Викорук —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831979-2

«Дети мои, да любите друг друга». Заповедь на все века. Вместо этого люди лгут, крадут, предаются унынию. Рассказы этой небольшой книги — лишь скромная попытка рассказать об этом. Маленькие истории о любви и ненависти на сцене жизни. Но раз уж мы существуем — значит побеждает любовь. Так было во времена царствования Ивана по прозвищу «Грозный», и в тихие унылые времена «застоя», и сейчас, когда народ России попытался найти путь к достойной и разумной жизни. Для отзывов: vicorus@yandex.ru

ISBN 978-5-44-831979-2

© Викорук А.
© Издательские решения

Содержание

Любовь олигархов	6
Когда наступит утро	10
Рассказ для скрипки с оркестром	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

**Любовь олигархов
Быль и небылицы
Александр Викорук**

© Александр Викорук, 2016

ISBN 978-5-4483-1979-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Любовь олигархов

В середине августа в тихий час начальник детского оздоровительного лагеря отставной подполковник Сидоруха Иван Васильевич созвал дееспособную часть обслуживающего персонала и без долгих вступлений, рубанув воздух крепкой короткопалой рукой, проговорил тихо:

– Хозяева приняли решение... Рубикон перейден! В скором времени наш родной детский лагерь «Солнечный родник» будет продан, на хрен, олигархам. В соответствии с этим осенью все мы пойдем к такой-то матери. Предполагаю, все наши домики-теремочки пустят под бульдозер, понастроят замков-коттеджей и распродадут втридорога богатеям.

Электрик Петр Ефимонов, сидевший на первом ряду, в наступившей тишине почувал, как сексуальная волна зародилась в животе и утонула вниз, бередя плоть. Он подивился такой электрической реакции организма, затем погрузился в тягостную думу о том, что надо будет искать другой приработок, так как на одну пенсию долго не протянешь.

– Такая диспозиция, – прервал паузу начальник лагеря, – братья и сестры! – изрек, разведя руками, как будто обнимая присутствовавших, чем вверх всех в тихую тоску.

«Ну, теперь пойдет разврат!» – предположил Ефимонов и не ошибся.

На ужин в столовке через окно раздаточной видны были на кухне качающиеся фигуры, слышались всплески безудержного смеха, было разбито три тарелки.

Сидоруха к вечеру напился. Его жена-бухгалтер с подбитым глазом побежала в медпункт за примочками и подальше от гнева благоверного. Сам начальник стоял тучей на крыльце своего домика и смолит сигареты. Рядом дымила фигуристая шеф-повар, раздобревшая на обильных харчах. Потом они исчезли в директорских покоях и предались усладе в море звуков древних битлов, музыка коих прорывалась на улицу через плотно закрытые окна.

«Исчезновение» наблюдал Петр своими глазами, когда закрыв дверь монтерской кладовки, направился к воротам мимо домика начальника. Сидоруха, метнув тлеющий огонек сигареты в урну, одной рукой открыл дверь в собственные апартаменты, а другой – звонко шлепнул по заднице повариху, придавая направление движения. Дверь закрылась, приглушив взрыв смеха.

Тропинка к дому лежала через мелкий лесок, просторный луг по берегу узкой вертлявой речки, мимо заброшенного карьера, а там – и тихая деревенька, где пятый дом от края, тот самый – родной. Мысли одолевали Петра тяжелые. Недобрые слухи о закрытии лагеря ходили с весны. Сократили дни езды, с каждой сменой все меньше ребят привозили, говорили, что отменили дотации на оплату путевок, да и дети приезжали сущие оторвы. Самые наглые постарше курили за углами домиков. Мелюзга не слушалась воспитателей, стреляли вечерами из рогаток по фонарям. А директор потом выговаривал Петру. Как будто он мог вкрутить лампочки из бронированного стекла. Старался отлавливать хулиганов и отнимать рогатки.

На лугу размышления Петра прервались. Сначала на тропинке попала пустая бутылка водки, потом в траве увидел брошенную хозяйственную сумку, из которой торчала колбаса. Не успел Петр подивиться, как дальше увидел, что в траве лежит человек. Вблизи разглядел бездыханное тело завхоза. Но тут черный пиджак задвигался и прокричал:

– Здорово, мужик!

– Здорово, корова, – ответил Петр и увидел дальше лежащую бабу. Сообразив, что он тут лишний, пошел дальше. Завхоз и посудомойка, отметил про себя Петр, заскучав от наплыва плотского желания и мысли, что придется скоро так и ему закупить бутылку и определяться с соседками, так как жена его пять лет назад переселилась на кладбище и, как говорила дочка, оттуда смотрела на них и молилась за их здоровье и благополучие. И снова подивился Петр, что беда пришла, надо бы с мыслями собраться, задуматься, как судьбой распорядиться, а народ, смотря, первым делом – набухаться и в кусты завалиться.

На третий день Петр не выдержал. Дождавшись, когда из корпуса вышла уборщица Анжелка, чтобы выплеснуть грязную воду, окликнул ее и предложил встретиться в отбой на обычном месте за ельником.

В назначенное время Анжелка бесшумно предстала на тропинке из разогретого солнцем молодого ельника. Петр обхватил ее крепче и почувствовал руками, что под плотно застегнутой джинсовой курточкой ничего больше нет. «Готовилась», – одобрительно подумал Ефимонов. Может, надо бы сойтись да жить вместе, в который раз мелькнула мысль, и снова поймал себя на том, что мысль эта приходила на волне любовной жажды, а потом куда-то исчезала, усмехнулся Петр. И по молодости Анжелка не была красавицей, а с годами деревенские ветра присушили румяные щеки да солнце припекло. Ну и говорила невнятно, часто обрывая слова из-за стеснения. Но под одеждой рука его легко нащупывала мягкое и томное податливое тело.

Прерывистой тропкой по мягкой хвойной подстилке дошли до ствола сломанной ураганом сосны, присели на теплые ломкие чешуйки. Ефимонов прижался губами к ее лицу, а рукой высвободил из курточки полные теплые груди. Анжелка стала захлебываться воздухом, охнула. Петр ласково повернул ее и уложил на сосновое ложе, задрал свободную юбку и неторопливо окунулся в нежное горячее облако. Он знал, что блаженство будет длиться вечно, и мысли в такие моменты приходили радостные, неожиданные.

– Счастье, Анжелка, – проговорил Петр ласково, чаще налегая на ее теплый зад. – Пускай олигархи подавятся своими виаграми. Это мы олигархи по любви. Они гнилые внутри, сгинут, а наши бабы нарожают детишек, им все достанется: речка, луг, лес, солнце... переживут нас, их.

Ефимонов неторопливо приговаривал и словно плыл в теплом облаке радости, в котором тонули все неприятности. Изнемогая, постанывала Анжелка, тоже залопотала своими отрывистыми словами, потом ее слова слились в протяжное мычание.

– Куда им, дохлякам, до нас, мы, Анжелка, лучшие...

– Ну, цирк, – послышался сзади голос, и ребячьи смешки.

Анжелка дернулась, но Петр не упустил ее, достиг предела и почувствовал, как содрогнулось тело Анжелки и волна взорвалась в нем.

Подтянув брюки, Петр медленно повернулся, загораживая Анжелку. Он услышал шорох ее одежды и быстрые шаги. В прогалине раздвинутых вервей куста торчала наглая физиономия парня из первого отряда, рядом – смущенная бледная физиономия второго парнишки и пацана помоложе.

– Ну что, стручки, теперь знаете, как вас делали? – спросил спокойно Ефимонов.

– Цирк, – проговорил наглый парень, – минут десять, у меня уж кипятик в штанах.

– Учитесь, – посоветовал Петр, – а то в следующее лето по домам сидеть будете. Продан лагерь олигархам.

– А вот, – наглый парень кивнул на бледного парнишку, – его папан и прикупил тут все. – Парень захохотал. – Так что, все его тут будет: речка, луг, лес и солнце.

– Ну, солнце – ты это врешь, – улыбнулся Ефимонов, – Все не проглотить.

– Теперь мы тут баб трахать будем, – проговорил зло наглый парень.

– А чего же он не на Багамах? – спросил Петр, глянув на бледного парнишку.

– Дурачок он, говорит, надоело, решил жизнь простого народа изучать. Мне бы такого папаню, – наглый причмокнул, – меня тут давно не было бы.

В тот же день, ближе к вечеру, Ефимонов столкнулся с наглым парнем на дорожке к игровым площадкам. Парень, засунув руки в карманы, шел медленно вразвалочку, а когда увидел Петра, заржал довольно.

– А, стручок, – протянул Петр. – Ты смотри так осторожнее. Нарвешься на местных парней, ноги переломают за любопытство.

Парень остановился и нагло улыбнулся.

– Куда вам, – презрительно усмехнувшись, проронил он. – Алкоголики, пенсионеры. Вас с потрохами купили. А надо будет – головы оторвут и за пятак продадут. Так что, ваше дело – бутылка да по кустам париться.

– Ты сам-то не из наших-то? Вижу, все твое богатство – в штанах болтается, а в башке – сквозняк один.

– Ха, хочешь знать, – парень прищурился, – я на тебе с бабой тыщонку заработал. Это у вас в деревне все бесплатно, а в бизнесе и за удовольствие платить надо. Олигарх-то еще мальчик, – парень заржал. А я ему наглядное пособие представил... – Слушай, идея! Давай так, тебе сотня – и повторишь с бабой? На том же месте.

Петр молча сплюнул.

– Ну, пятьсот.

– Морда у тебя наглая.

– Сто баксов! – парень с усмешкой смотрел на Ефимонова. – Зря думаешь. За сто баксов сам начальник с поварихой прибегут трахаться.

– Смотрю, вот, на тебя, – проговорил Петр с усмешкой. – Как наши отцы нас, дураков, настрогали. Коммунизм строили, кэпээсэс кричали. Так и мы вас, буратин, наделали. Такие же дураки. И вы, и ваш олигарх таких же дураков настрогают. Деньги, деньги!.. А то же дерьмо выйдет. Помяни мое слово.

– А, может, я Абрамовичем стану.

– Сортир ты у него облизывать будешь за тысячу баксов. Если его дружки не уроют. Абрамовичей десяток-другой, а сортиров у них сотни у каждого. Где ты и будешь.

– Ладно, мужик, не пыхти. Никто тебе платить не собирается, – хмыкнул парень и пошел дальше.

Через неделю, после прохладных августовских деньков, пришел сухой и теплый ветер. Днем сильно припекало солнце, шли последние дни смены. Петр сговорился с Анжелкой пойти в заброшенный колхозный сад за яблоками.

Сад тот насажен был больше тридцати лет назад, когда и жизнь была другая и Петр был работающим молодым мужиком, жива была его молодая женушка. И бегала у дома по травке маленькая несмышленная дочка, которой в радость были и голубые мотыльки, и пуховые котятки, и простенькие цветы в огороде. Сад садили большой, в расчете на богатый урожай, сажали весело, с задором, шутили, что яблоки уже в коммунизме собрать будут. А потом вышла сильно морозная зима, под сорок. Деревья трещали и лопались, хлестко, как патроны, брошенные в костер. Сад поморозило, его и забросили. Но половина деревьев кое-как выжило, выбросили пару-другую листочков. Мертвые ветви обломались и сгнулись с годами. Деревья коряво непопад разрослись, выправились – и начали родить яблоки. Дрозды их расклевывали, налетая стаями, ребятишки из деревни ходили, сбивали палками и хрустели сочной сладкой плотью. Взрослые заходили набрать сладких дармовых яблок.

Петр нес корзину, радуясь теплоте ветерку и солнцу, рядом шла Анжелка, румяная и свежая, с улыбкой на губах. Зашли в самую гущу сада по тропинкам, которые протоптали коровы. Тишина и солнце. Петр шестом сбивал яблоки. Они яркие, румяные сверкали боками, падая в листве. Некоторые сильно бились о толстые ветви и брызгали соком. Уцелевшие Анжелка складывала в корзину. Медленно переходили от дерева к дереву, высматривая самые крупные яблоки, словно яркие фонари, сиявшие в зеленой листве.

Петр тоже брал теплые яблоки, и трудно было удержаться и не надкусить. Белая мякоть сверкала на солнце и рот переполнялся сладостью сока. Щеки Анжелки тоже сияли, как яблоки, и грудь ее, обтянутая кофточкой, округлилась, как яблоки. Звенела тишина, сияло солнце, яблоки переполняли светом корзину. Петр чувствовал, как стали тесным брюки, он обнял Анжелку и коснулся рукой груди, потом расстегнул кофточку и утонул лицом в нежной груди.

Шелестели под теплым ветром листья, шепотом говорили губы Анжелки невнятные слова. Петр медленно освобождал ее от одежды, проникал все дальше, потом ветер их начал качать, как качал ветви с яблоками, и губы Анжелки вздыхали и лепетали, как листья.

– Это для нас, Анжелка, – привычно тихо приговаривал Ефимонов, – тепло, солнце, яблоки для нас, мы, как яблоки, мы живы, наша радость...

Ветер набегал теплыми волнами, касался листьев, их волос, распахнутой одежды, огненной теплой кожи, улетал дальше в деревья, луга, и снова набегал новой волной.

Взгляд поверх Анжелки уловил силуэт, и Петр почуял холодок в груди. В мозаике листьев, ветвей проглянул мальчишка, тот бледный парнишка. Петр даже оглянулся, нет ли кого вокруг.

Парнишка странно двигался, как слепой, он тянулся руками к толстым ветвям яблоки метрах в тридцати. Петр увидел, что сверху с ветки свесилась веревка с петлей, и парнишка стал растягивать петлю. Здесь Петр сообразил, в чем дело, даже сердце на мгновение заохлоло. На ходу он подхватил брюки, бегом обогнул яблоню и побежал к парню.

– Не балую, парень, – зашептал Ефимонов, – нельзя так...

Он обхватил худое холодное тело парнишки и прижал к себе, стараясь согреть его, пытаясь прикосновением расшевелить, доказать, что не так все.

– Зачем? Не шали, – шептал он, распутывая веревку, и сбросил с безмолвной, обморочной головы петлю. Петр прижал бледное лицо к щеке.

– Глянь вверх... там солнце, яблоки, листья – все твое, для тебя, для твоего папки, для твоих детишек будущих.

По лицу парнишки потекли слезы, гримаса боли сжала глаза.

– У меня, – залепетал парнишка, – не получается с девушками...

– Ты что, – горячо зашептал Петр. – Они все хотят тебя, любят тебя, только приди...

Со мной идем.

Он медленно вел его к Анжелке, которая все видела и с испугом смотрела на них, придерживая на груди расстегнутую кофточку.

– Вот, чудак, чего удумал, – говорил Петр, обращаясь к Анжелке. – У всех получается, а у него нет, получится у тебя. – Скинь, – кивнул он Анжелке, и она сбросила кофточку.

Петр прижал его руки к груди Анжелки.

– Теплая, как яблоко, закрой глаза. А ты обними.

Анжелка обняла парнишку и коснулась губами глаз.

– Это как в мамке. Все знаешь и умеешь. Они все любят тебя, ждут, хотят.

Петр освободил его от одежды.

– Анжелка, встань коровой, дура. Бычок пришел. Ты вот так держи за грудь, у нее, как у девки, сиськи. Толкай, толкай... Говорил не получается. Чего придумал, дурень... – Петр полюбовался на свое творение. – Давай, теперь гони, чаще.

Парнишка содрогнулся и со стоном прижался к Анжелке. Ефимонов засмеялся облегченно. Анжелка вся покраснела и довольная поправляла юбку, отряхивая сор.

– Ну, и хорош на первый раз, – довольно сказал Петр. – Теперь все знаешь, умеешь. А папке своему объясни, что деньги – это еще не все. Олигархам еще научиться любить надо. И веревку ему подари. Пусть сам повесится, если в жизни ничего не понял.

Когда наступит утро

В быстро сгустившемся сумраке раннего холодного октябрьского вечера между кустами жидкого московского скверика материализовались две смутные фигуры подозрительного вида. В черноте едва высвечивались две пары глаз. В них отражались яркие огни увеселительного заведения, расположенного напротив через небольшую площадь.

На идеально выглаженной поверхности фасада тепло и уютно светились задрапированные окна, а над парадным подъездом перемигивалась лампочками веселая надпись «Африка». У входа под сенью пластмассовых палым два плечистых секьюрити игриво переминались в такт долетавшим из дверей зажигательным ритмам.

Дверь распахнулась, из ее жаркой пасти выпорхнул чернолицый гражданин с пылающей улыбкой. Он конвульсивно содрогнулся в волнах усилившейся переполненной эросом музыки – и покрывавший его свободный балахон с алым орнаментом заструился золотыми и красными вспышками. Гражданин что-то весело пролопотал ожившим секьюрити, помахал им бледными ладошками и снова нырнул в жаркое нутро заведения, игриво покачивая бедрами.

Красное зарево перелетело площадь, мелькнуло и погасло в двух парах глаз. В одних они оставили скуку, в другой паре глаз, что блестели чуть ниже, зажгли панический страх, следом послышался сдавленный испуганный всхлип и тонкий жалобный бабий стон.

– Молчи, – резко оборвал грубый мужской голос.

Тени сомнительного вида сдвинулись, едва заметно проплыли ряд кустов и пропали в густом мраке за будкой газетного киоска.

– Прибыли, – довольно проворчал мужской голос.

Тихо клацнул о металл ключ, скрипнул замок, затем – шорох одежд втискиваемых в тесное помещение, сдерживаемое дыхание.

– Сейчас, – сказал мужчина, потом в тишине щелкнул выключатель. В углу, над полом будки, затлела и разгорелась красная спираль обогревателя. Мужчина и женщина сели на пол, привалившись плечами друг к другу, и протянули руки к теплу спирали. Несколько минут они молча смотрели на жаркое чудо, которое вливало тепло в их продрогшие тела.

Слабый красноватый свет обогревателя выделил во тьме обтрепанные рукава курток, поднятые засаленные воротники, нахлобученные по самые уши толстые вязанные шапки, из которых выглядывали распаренные холодом лица.

– Ну, Васька, – проговорил радостно мужчина, – сегодня тебе везуха. В нашем деле самое главное – личные связи. Без корешей никуда. Вместе в школе учились. Он потом на философа выучился. Так ведь горе оно от ума, – мужик хохотнул. – И при советах с хлеба на воду перебивался. А уж при олигархах вообще до ручки дошел. В киоскеры подался. Два года назад я на его теремок набрел, упросил ключ дать. И дал, понимаешь, Васька. Чело-ве-к! Я ведь в той жизни в упор его не видел. Да и где увидеть – из лимузина. Разве что грязью обдать, если не увернется... Слушай, а чего у тебя дурацкое имя такое?

– Деревенские мы, – припухшие щеки женщины раздвинула улыбка. – Папка с мамкой Василисой назвали. А я, вишь, городской стала.

– И я городской, а зовут меня Харя. Конечно, не родичи так положили. По ним был Дорохов, когда-то величали Хароном.

Мужчина хихикнул и протянул руку к одному из объемистых пакетов. С довольной улыбкой он стал вынимать из пакета припасы. На развернутой газетке появились начатый кирпич черного хлеба, куриная нога, кусок колбасы, пластиковая бутылка с водой, несколько соленых огурцов.

– Сейчас Африку тоже заделаем, – с усмешкой пробурчал Харя и бережно достал из пакета аптечный пузырек с надписью «Настойка боярышника». – Классная вещь для настроения, только горло сушит. А мы Сахару водичкой зальем.

Он нетерпеливо зубами сорвал пробку с пузырька, сделал глоток, потом прильнул к бутылке с водой, несколько раз глотнул, отдышался и протянул пузырек соседке.

– Сразу не глотай, а набери воды.

Несколько минут они молча жевали. С улицы доносился шум пролетающих машин, свет от фар проникал в щели между металлическими ставнями и причудливо выхватывал из тьмы пестрые обложки журналов. Некоторые машины медленно заворачивали на стоянку у подъезда «Африки», из них выходили нарядные мужчины и женщины и исчезали в дверях заведения.

Одна компания оказалась особенно шумной. Мужчины весело перебранивались у машин, молодые разряженные девицы заливисто хохотали, тревожа звонкими голосами тьму парка и притихших за углами зданий дворов.

Харя приник к щели, рассматривая веселую публику, потом хмыкнул:

– Чудилы, чего горло драть? У меня все это уже было.

Он откинулся на стенку, и в этот момент снаружи послышались ломкие голоса подростков. Харя насторожился.

– Давай баллон, а ты маркером тэг ставь, – донеслось тише, тут же зашипел баллончик, послышалось напряженное сопение. Через минуту возня прекратилась, послышалось: – Линяем, – затем довольные смешки и шорох удаляющихся шагов.

– Пацаны развлекаются, – проговорил Харя.

– Чей-то они? – удивленно спросила Васька, на ее разомлевшем от тепла широком и красном лице все просторнее растягивалась улыбка.

– Граффити. Мы с тобой в пионеры ходили, а они по улицам шастают, с вечностью борются. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Один братан интересовался. Вот ты когда, дура, жила? Когда дитем в своей деревне у речки гусей пасла или в вонючей Москве сейчас когда вшей кормишь?

Лицо Васьки помрачнело, она долго морщила лоб, потом выпалила:

– В Москве.

– Ну и дура. Там ты человеком была, природы вершина. Детей бы воспитывала, учила, муж-пьяница бил бы тебя. А тут ты – грязь, вошь асфальтовая, каждая сволочь тобой подотрется.

– А сам-то?

– Я другое дело. Мне понять надо было: зачем это все? Пока как все пахал, бабки сколачивал, не до того было. Теперь другой случай – голова свободна, мыслей навалом. В городе это можно, на его помойке для меня и тепла хватит, и харчей. В вашей деревне я с голоду да холоду давно ноги протянул бы.

– Да нет моей деревни, – плаксиво проговорила Васька. – Папка-мамка померли, давно и вся деревня так сгинула, бурьяном заросла.

– Значит, негде человеком стать, – заключил Харя. Он принялся вспоминать, как в конце восьмидесятых бросил научную работы, стал торговать вагонами спичек, сахара, телевизоров, ездил сначала на ржавом старом «Мерседесе», потом на новом «Вольво».

Харя не заметил, что тепло сморило Ваську, ее голова отклонилась на стену, а глаза закрылись. В девяносто восьмом Харя, тогда еще господин Дорохов, крупно погорел. Но вывернулся, наскреб денег, занял, приятели помогли – завел похоронное дело, с размахом, по высшему разряду, для покидающих сей мир крупных казнокрадов и бандитов. Им приятно было упаковывать своих безвременно усопших дружков в кедровый лакированный саркофаг. Красноватое дерево, ароматное, как туманный вечер в кедровом бору, дерево не гниет, жучкам не по зубам. Харя даже мечтательно сладко почмокал губами.

– На века, – с улыбкой пробормотал он и вспомнил, как в полумраке траурного зала торжественно тлеет приглушенный огонь дерева, словно глубоко спрятанная улыбка вечной жизни. И наплевать, конечно, что в коробке спрятан какой-нибудь гниющий ублюдок, который протух еще при жизни. Сколько перевидал их Харя, которого в то время приятели величали Хароном. Закрашенное ретушёром тление, а иногда – залепленные дырки от пуль. Он бестрепетно отправлял их по течению времени во тьму. Про себя усмехаясь, когда видел, как дружки усопшего совали под руку труп мобильники.

– Я эти мобильники потом, ой, как вспомнил! – воскликнул Харя.

Он замолчал, потому что дыхание перехватило. Все вместе было: и ужас смерти, с ее тошнотворным запахом разрытой глины и перегноя, и восторг жизни, которая излучается теплом каждой клетки. Голос его и сейчас дрожал и прерывался... Харон должен был пройти весь путь, которым следовали все его подопечные.

Подловили его ночью, на стоянке возле дома. Он нагнулся к раскрытому багажнику, чтобы вынуть пакеты с провизией – и взвыл от боли в сжатых тисками руках и в голове от вырываемых с корнем волос. В пламени боли его, как пушинку, перенесли к другой машине, швырнули на заднее сидение и тут же сдавили между двух мускулистых тел. Так приходит смерть. Это он сразу понял, без объяснений. Бестрепетно и неотвратимо. Потом был сказочный калейдоскоп, навсегда врезавшийся в мозг. Запах кожи сидений, врывающиеся в окно всплески влажного ночного воздуха, яркие фонари, витрины, режущие светом глаза. Все уже было по ту сторону.

В конце машина медленно и мягко вкатилась в ворота темного кладбища, тихо захрустел под колесами гравий. Они остановились. Харона снова вынесли в мощных безжалостных руках, подержали секунды перед тремя ублюдками с холеными и сытыми мордами – они были знакомы ему – и кинули в атласное лоно кедрового саркофага. На грудь ему шлепнулся мобильник, а следом опустилась крышка. А дальше была тишина с ароматным запахом красноватого дерева, которому не страшны ни сырость, ни жучки. Встряхнуло, когда гроб ударился о дно могилы, торопливо сыпанули комья земли. Мускулистые бугаи сноровисто орудовали лопатами. И все задавила тишина. Она была живая. В ней вспыхивали искры, мелькали видения, в которых Харон узнавал себя, близких, свой дом, улицы города. Метель видений захватывала его, сковывая тело страхом. Он судорожно пошевелился – и мельканье погасло и сменилось тишиной и тьмой.

Оглушительно запищал мобильник.

– Тебе удобно, дорогой, – проскрипел мерзкий голос.

Харон прокричал все ругательства, какие только мог вспомнить – и сразу пришло спокойствие и легкость. Твердо решил не сдаваться. Лучше он умрет, чем отдаст свое дело этим ублюдкам.

– Не хорошо кричишь, о душе думай...

Приглушенно, чуть слышно донеслись смешки.

– Памятник ставить? – спросил мерзкий голос. – Или подумаешь?

Харон размышлял о том, что жене и детям денег хватит, фирма защищена, как когда-то говорили, от прямого попадания атомной бомбы. Если только за них не возьмутся. Тут же мелькнула мысль предупредить, научить – и радость: позвонить по мобильнику. Начал давить кнопки.

– Зря балуешься, – заскрипел голос. – На приеме работаешь. Давай к нам. Шашлык будет, вино, девочки. Ну, конечно, кое-какие бумажки подписать надо. Всего бумажки паршивые. Стоят они того?

Снова стал доноситься шорох эфира, невнятный разговор. Обсуждали предстоящую ночь, кто-то их ждал. А Харон останется здесь, ему подписан приговор, он пойман и заперт, и нет выхода... Пусть они станут добычей, озарила мысль. Отдам фирму, станут еще богаче.

И за ними приплывет зубастая акула – и схавает вместе с фирмами и жалкими, ничтожными душами.

Харон забился в истерическом хохоте, он представил, как эти наглые морды стоят там и думают, что это они его приговорили к смерти. А это он их сейчас приговаривает, он роет им могилу. Уж они-то не выберутся, от кошелька не откажутся! Их пули отлиты! Он смеялся, представляя их тупые морды. Он подвел черту под их жизни. На это не жалко никаких денег.

– Чего смеешься, дорогой? – захрипел озадаченно мобильник.

– Откапывай, вот чего, подпишу бумажки, пользуйтесь, – Харон снова засмеялся. – Вы самые богатые и любимые клиенты будете...

Харя повернулся к Ваське, увидел, что она спит, толкнул ее с досады, схватил за шиворот куртки и стал трясти. Очумелые глаза Васьки открылись, в их тяжелую истому сна стали вливаться капли смысла.

– Ты должна знать, – не отпуская ворот, хрипел Харя, – через год первого пристрелили. А еще года через полтора менты пришли остальных двоих. – Харя радостно засмеялся. – Крышу перекрывали. Но и за ними тоже придут. А я живу. Вот в чем ответ. Когда придет рассвет... – Харя с загадочной улыбкой медлил. – Я выпью за жизнь. – Харя откинулся к стенке, его глаза радостно уставились во тьму. – Земля оттает, может, дождь пройдет. Воздуху-свежака глотнем, как шампанского. Потом в метро завалимся, в тепло, подремлем. Нет ничего слаще бездонной могилы сна. Настоящая могила гораздо хуже.

В этот момент с улицы донеслось бухание ритмичной музыки. Харя приник к щели и увидел, как к ресторану подъехало несколько блестящих машин, из которых и вырывались раскаты музыки. На площадку высыпала цветасто разодетая компания. Двери заведения распахнулись, и к компании выскочил метрдотель, его лицо сияло, руки настойчиво манили.

– Вот дурачье, – пробурчал Харя. – Волны Стикса всех смоют. Не забудьте монетку под язык для меня положить, – чуть ли не прокричал он и повернулся к Ваське: – Давай еще по глотку...

Компания медленно просочилась в широкие двери, втекла в зал. Метрдотель с вьющимися вокруг официантами провели новых гостей в нишу в углу зала. Худоцавая певица с угольно блестящими горящими глазами до этого томно выстанывала мужским грубым голосом заунывную песню. Разглядев пришедших, она прервала тягучий рев и смачно засмеялась.

– Лучшие мотыльки Москвы слетаются к нашему огню, – зарычала певица в микрофон. – Мы приветствуем их! – ревела она радостно, и зал подхватил ее воплем восторга. – Взмахнем крылышками и будем порхать всю ночь. А когда настанет утро, пусть на наши пьяные головы пролетит семя жизни, пять золотых, можно в баксах, дублонах, евриках и прочей звенящей и блестящей. Грянем песню!

Под общий шум в центре зала на стул вскочила пьяная девица в разноцветной майке, в белых брюках, левая брючина была рассечена чуть ли не до пояса и обнажала объемистую розовую ляжку.

– Когда наступит утро, – завопила девица, – я пошлю вас всех и умоваю в Париж.

– Летим в Париж, – подхватила певица.

Грянула музыка, и лихорадочно приплясывая певица стала выкрикивать слова:

– Дайте мне небо, дайте мне землю, дайте мне мяса, дайте мне крови, дайте мне девку, дайте мне водку, дайте буга-я!

В этот момент в зал проникла вереница официантов, поваров с подносами, на которых пламенели алым цветом тарелки с фирменным блюдом. Среди нарезанных помидором, листьев петрушки торчали куски мяса, имитирующие детали гениталиев.

Певица завопила:

– И стало хорошо!

Зал подхватил, и вместе они заревели, подпрыгивая: – Вот это кайф, вот это кайф, ты во мне, а я в тебе...

Публика выпрыгнула из-за столов, исполняя некий дикий африканский танец, кто-то свалился на официанта, его поднос, разбрызгивая смачные куски блюда, со звоном обрушился на пол. Образовалась свалка, и от всеобщего смеха и восторга задрожал потолок и разноцветные фонари. Певица вопила, официанты неуловимо носились, ликвидируя беспорядок, публика иступлено плясала, как последний раз в жизни. Потом обессиленные кинулись к столам и стали пожирать фирменное блюдо под успокаивающее мелодичное треньканье музыкантом и томное мурлыканьем певицы.

Ночное пиршество было в разгаре, гости плясали, ели, некоторые, слишком разгоряченные, вываливались на улицу и толпились перед входом, то приплясывая, то обнимаясь с хохотом и визгом.

Мимо будки, в которой сидели Харя и Васька, проходили в обнимку молодой рабочий паренек и его девчонка. Засмотревшись на разодегую публику, они остановились и поставили на асфальт открытые бутылки пива. Паренек в полголоса с матерками представлял голосившую у ресторана публику, а девица довольно хихикала на его шутки. Потом паренек предложил немного отлить, они обогнули будку, и к общему шуму присоединился шорох струй.

Парочка вернулась к бутылкам, и тут из подъезда «Африки», подгоняемая возгласами веселой публики, вынырнула обнаженная стриптизерша. Она по-змеиному извивалась, демонстрируя округлые пышные груди, размахивала над головой серебристым лифчиком, потом вспрыгнула на руки одному из секьюрити, крутанула руками и ногами и вскочила ему на плечо. Секьюрити млел, а публика визжала от восторга. Стриптизерша оседлала плечи мужика, видимо, тоже исполняя отработанный фирменный номер, зубами сорвала его фуражку и метнула в сторону, а затем медленно утопила курчавую черную голову в телесном море грудей. Издав боевой вопль, секьюрити со стриптизершей на плечах помчался в раскрытые двери, а за ним с ревом ухнула вся толпа.

Паренек со стоном обхватил свою девчонку и потащил за будку. Харя с улыбкой слушал, как он придавил ее к стенке, долго сопел, распутывая одежду, потом постанывая стали раскачивать будку.

– Всюду жизнь, – с усмешкой прошептал Харя и толкнул в бок Ваську.

Когда буря за стенкой утихла, и через некоторое время парочка, подхватив бутылки, ослаблено ушлепалась прочь, Харя нетерпеливо скомандовал Ваське перевернуться. Та понятливо задрала задницу. Высвободившись из одежды, Харя рванул ее многочисленные штаны, обнажая необъятный деревенский зад. Он вошел в нее, как в царство небесное.

Васька тихо постанывала от блаженства, а Харя веселился, стараясь порадовать глупую бабу. Он думал о жене, которая укрылась с детьми в Лондоне, и, наверное, лежит сейчас в постели с каким-нибудь боевым мужиком, о дурацкой кодле в ресторане, которая тратит бездарно время на жратву и выпивку, вместо того, чтобы упасть в постель, о паренке с девчонкой, которые уже все познали.

Харя упивался радостью Васьки и посмеиваясь объяснял ей:

– Слышал недавно, как президент вслед за попами объяснял народу, что нравственность от бога, – Харя засмеялся, переживая волну наслаждения. – Не знаю, как там с нравственностью, а вот такой кайф точно от бога! А попы все врут.

Васька стала подвывать в голос, а Харя медлил, растягивая радость, он знал, что когда наступит утро, он выползет опустошенный в туман и холод и будет думать о том, как набраться сил, чтобы следующей ночью снова войти в царство жизни, а потом его будет мучить мысль, как навсегда остаться в этом царстве счастья.

Но тут нахлынула волна содроганий, тьма осветилась молниями близкой истины... И все погасло, надвинулась тьма, холод. Обессилено Харя навалился на Ваську.

– Вот это кайф, Василиса, – прохрипел Харя, в ответ она захихикала.

Ночь длилась, они не слышали, как к ресторану подъехала вереница черных машин. Из них выскочили парни в камуфляже и вошли в ресторан. Один из приехавших мужчин что-то проговорил на ухо метрдотелю, тот побледнев выслушал и, повернувшись к публике, громко объяснил, что в органы был звонок о том, что ресторан заминирован, сейчас приедут спецслужбы. Метрдотель принес извинения за прерванное веселье и объяснил, что приглашает в следующую пятницу всех присутствующих повторить этот чудесный вечер бесплатно, за счет заведения.

Разочарованные крики сменились радостными воплями и публика потянулась к выходу. Только девица в белых брюках с одной разрезанной штаниной вскочила на стул и закричала, что она против, она хочет продолжать, ей еще рано в Париж. Ее тихо подхватили мужчины в камуфляже и бережно понесли к выходу.

Официанты и повара кинулись чистить зал, и когда посетители вышли, двери открыли и в зал ввели маленького тщедушного плешивого старикашку с мерзким плоским дряблым лицом. Он медленно жевал бледными губами, с тоской оглядывал блеклыми глазами столики. К нему подскочил метрдотель, лстиво улыбаясь и приговаривая о счастье, которое дарит им господин своим посещением. Из-за спины метрдотеля вынырнул чернокожий гражданин в алом балахоне и прильнул к руке старика. Лицо старика ожило, на губах появилась детская улыбка. Негр бережно провел старика к столику, который уже сиял белоснежной скатертью, вокруг тенями метались официанты.

– Африканская ночь ждет нас, мы будем одни – зашептал негр на ухе старику. Тот засмеялся, откидывая голову назад, и обнажая желтые зубы. Негр скинул на пол алый балахон и прильнул мускулистым торсом к ногам старикашки.

На площадке перед заведением медленно рассасывались машины. Девица в белых брюках все еще капризно буянила, а мужчины в камуфляже упорно выясняли, где ее машина и куда ее надо отвезти. Наконец ее подвели к белому «Мерседесу». Тут девица вырвалась из рук охранников, плюхнулась за руль и рванула машину, затем, вильнув, остановилась. Машина минуту не двигалась, и все смотрели на нее. Двигатель взревел, машина рванулась, сбила столб ограждения, перемахнула, ускоряясь, улицу и рубанула в газетную будку. Заскрипел металл, звонко зазвенело осыпающееся стекло, раздались вопли ужаса.

Все кинулись к машине. Охранники попытались вытащить из машины сплюсненную подушками безопасности девицу, но дверь заклинило, стали вызывать службу спасения и «Скорую».

Девица материлась из машины, публика бесцельно глазела, наконец кто-то заметил, что из-под будки на асфальт медленно вытекает кровь.

Приехавшие спасатели первым делом стали вскрывать будку. Скоро из нее вытащили сначала тело мужчины, а затем женщины. Их положили рядом.

– Оба готовы, – проговорил врач «Скорой».

Из «Мерседеса» извлекли девицу в белых брюках, она вырывалась и кричала. Ее отпустили.

– Мне надо в Париж, – раскачиваясь, заявила она, сделала шаг, потом оглянулась на лежащие тела, подошла, наклонилась и тут же отпрянула в ужасе, не удержалась, поскользнулась на луже крови и упала. Ее подняли.

– Это кровь, – завопила девица, увидев измазанные брюки.

Глаза Хари открылись, на его губах запенилась кровь. К нему наклонились. Он хотел сказать, что это его кровь, но ему больше не больно... и утро больше не наступит. Но на губах только пенились пузыри.

– Он сказал: не наступит, – проговорил склонившийся охранник. – Что?

Харя закрыл глаза, последний раз прохрипел и затих.

Рассказ для скрипки с оркестром

Репетиция завершалась. Гаревских, кажется, был доволен. Он стоял у дирижерского пульта, несколько картинно выгнув спину, приподняв подбородок, словно хотел разом увидеть весь оркестр.

– Ну что ж, дорогие мои, – улыбался он мягко, отечески, слегка прикрыв глаза. – Еще из второго акта выход волка и закончим. Итак... – он мастерски выдержал паузу, по-дирижерски точно отмерив ее, – нам страшно, идет серый волк! – И взмахнул палочкой.

Оркестр мрачно застонал, виолончели задрожали от страха, издавая низкую ноту, угрожающе прогремели ударные. Борис Михеев ослабился, посмеиваясь над дирижером. Рука привычно вела смычок, скрипка жалобно скулила, а Борис мысленно осаживал дирижера: «Не надоест пошлятину толочь. Скоро на пенсию, полысел в оркестровой яме, а все в образ входит, тешится по-станиславскому. Если за пультом, значит, и дурачком можно прикинуться. А вы, четвертые и пятые, и не пытайтесь, и так дураками выглядите».

Вот наступил момент появления волка. Глаза Михеева легко улавливали движения дирижера, а мысли были далеко, потому что больше всего Борис не любил детские спектакли. Да, дети – самые благодарные зрители: смеются взახлеб, плачут, иногда кричат, спасая любимого героя подсказкой. Но есть в их внимании что-то физиологическое, животное-бессмысленное. Они ложатся на барьер, и тогда их любопытные физиономии нависают над оркестром, они жуют конфеты, роняют в оркестровую яму фантики, смеются – и так не переставая, пока не поднимется занавес. А затем они с каким-то сладострастием пожирают зрелище, как будто перед ними мороженое или торт. Если же им скучно, они хихикают, шепчутся, зевают, беззастенчиво и простодушно.

На детском спектакле впервые Михеев понял, что он обманут: вместо тайны искусства, о чем грезил в музыкальном училище, вместо известности – обычная служба, где не требуется ни вдохновения, ни мысли, а надо исправно водить смычком, вовремя приходиться на репетиции и спектакли.

Прозрел Борис восемь лет назад, и с того дня сыпалась шелуха с позолоченного идола, открывались неприглядные подробности закулисной жизни театра. Словно из брюха троянского коня, выбирались под покровом занавеса, незаметно для зрителей, сплетни, зависть, интриги, и все чаще приходила мысль Борису, что приличное место не назовут «ямой». И скорее всего так назовут место, куда сваливают, что никому не нужно, чем место, где рождаются гении, и никогда серая пена будней не сотворит ничего путного.

Оставалось иногда радоваться малому: месяц назад ушел на пенсию сосед слева, старик Вазнин, с чудным прозвищем Апокалипсис. Сразу стало легче, как будто отвалили в сторону огромный холодный камень, заслонявший свет, не дававший воздуха. Его стул Борис придвинул к пюпитру, и в этот момент почудилось, что, вот, задвинул, прикрыл скучную книгу, которая постоянно мозолила глаза, давила на душу. Усмехнулся, как легко заканчивается жизнь: простым движением, отторжением.

Пришел Вазнин в оркестр в конце шестидесятых годов уже безнадежно измятым и раздавленным жизнью человеком, просидел до пенсии, ни на шаг не продвинувшись, исправно и точно играл на скрипке. Его, наверное, никто бы и не заметил, если бы весь вид его не источал холод конца жизни. Был он не разговорчив, но если его вдруг расшевелить, то чаще всего сетовал на то, что человек очень слабое существо, его запросто можно уничтожить. Наверное, поэтому за ним укрепилось странное прозвище.

Однажды старик проговорился, что в войну был в плену. Борис страшно удивился, так как старик, мешковатый, в очках, совершенно не походил на военного человека, даже бывшего. Вазнин подтвердил, что военным не был, а состоял при музыкальной бригаде и ездил

по фронтовым частям, пока не случилось непоправимое. Больше из него не удалось выжать ничего. Но впоследствии Борис по смутным сплетням в оркестре сообразил, что дирижер и старик как-то связаны были давно, в прошлом. Говорили, что Гаревских чем-то обязан старику, даже боится его, намекали, что-то у них произошло, иначе и не держал бы его. В это не верилось: слишком хорошо чувствовалось у рассказчиков желание уличить дирижера. Но смутная тайна интересовала, обнаруживала какой-то порок. Приятно было иногда взглянуть на дирижера с сознанием, что и у тебя рыльце в пушку, так что не петушиться особенно. Но старик ушел, с ним канула тайна, о чем Борис не сожалел, потому как – пустяки, обычная пакостная мышиная возня.

– Достаточно на сегодня, – Гаревских постучал по пульта, и музыканты поспешно скомкали звуки. – Спасибо, – он поклонился, – завтра в двенадцать спектакль.

– Есть объявление, – сказала виолончелистка Раиса Жебко, плотная женщина с гладко зачесанной круглой головкой, крупными плечами и бедрами. – Двадцатого мая поездка на теплоходе по каналу, день здоровья. Для работников театра билеты пятьдесят процентов, члены семей – за полную стоимость. Записываться сейчас. Вас, Леонид Витальевич, записывать? – обратилась она к дирижеру.

– Обязательно. Ах, этот май, ивы, река, соловьи.

Михеев стал пробираться между пюпитрами к Раисе, вокруг уже толпились музыканты. Борис решил записаться, а заодно и проводить ее до метро. Раиса давно привлекала внимание Бориса, хотя была старше лет на пять. Но, считал Борис, это и гарантировало, что будущие отношения, которые, по его предположению, должны были возникнуть, не перейдут в излишне тягостные и длительные. Она всегда казалась ему доступной и немного распушенной, уж слишком откровенно чувственной была ее поза, когда она во время исполнения, словно любовника, прижимала коленями красноватое тело виолончели. Записался Борис последним и уже хотел предложить выйти вместе, но ее окликнул Гаревских.

– Раиса Александровна, задержитесь на пару минут. Мне надо с вами поговорить. – Гаревских стоял в отдалении и ждал, когда Раиса подойдет к нему. Она улыбнулась Борису, попрощалась и направилась к дирижеру.

Борису ничего не оставалось, как удалиться: ему ясно указали, что он здесь лишний. Проклиная все, Борис вышел из зала один, подумал, что между дирижером и Раисой наверняка что-то есть, и это еще больше усилило неприязнь к Гаревских.

На улице сияло майское солнце. Уже неделю стояла жаркая погода, горожане избавились наконец от плащей и пальто, многие ходили в рубашках. Замусоленные дождями фасады домов вдруг расцвели яркими пятнами белого и желтого цветов, на газонах топорщилась нежно-зеленая трава, дышалось легко и сладко. Но с некоторых пор Борису и в весеннем цветении чудилось притворство актера, который восклицает на сцене возвышенные любовные слова, а за две минуты до третьего звонка носился по театру, пытаясь куда-то пристроить купленные сосиски, да хихикал, рассказывая сплетни о жене дирижера. Так же и весна, считал Борис, розовые лепестки, жаркое солнце, румянец на щеках девушек, сменивших сапоги на почти невесомые туфельки, а на самом деле – тягостное кроводвижение, сминающее тишину и покой, безумие, о котором потом, отрезвев, только пожалеешь, обман, которому хочется поддаться, а следом – похмелье. И вся суета вполне достойна прибаутке: бабы каются, а девки собираются. «А куда девки собираются?» – иронизировал в душе Борис. Тоже собирался, давно: музыкальная школа, училище, долгие уроки, постоянное, какое-то болезненное соединение со скрипкой и бесконечное движение смычка слева направо, туда-сюда. Божественные звуки! А сколько переживаний, разговоров об искусстве, о вдохновении, таланте. Тот – гений, этот – бездарность. Глухариное ослепление, бормотали черт знает что. И вот тебе, получили. Бывшие гении халтурят по ресторанам детишкам на молочишко, особо хитрые засели в оркестрах – выпиливать оклад, грезят гастролями по заграницам. Еще ходят легенды о связях такого-то, который

далеко пошел. Элементарное размножение, деление клеток в питательном бульоне. Но что же жалко себя так? Будто украли что-то...

Борис, не глядя по сторонам, с мрачным видом шел по праздничным улицам, а вспоминалось лишь одно, из далекого детства: мать ведет за руку по темным зимним переулкам к музыкальной школе, в другой руке она несет скрипку. Холодно, темно, сторбленные тяжелой одеждой прохожие бредут по улицам, окна слепо теплятся яично-желтым светом. Дома только и разговоров о скрипке, о Борином таланте и его будущем, о том, что мама на что угодно пойдет, но выучит сына. А Боря под мамины восторги занимался и занимался, и даже музыку полюбил: уединение со скрипкой, какая-то отрешенность от приятелей по школе и двору, находил в музыке утешение, лелеял мечты. А сейчас ясно видел, что не случайно пугали вечерние походы в музыкальную школу, и мрачная зимняя тьма предвещала будущее, нашептывала обо всем тяжком и темном, что поджидало его. Но детские глаза не могли увидеть и осознать, а мать лгала и себе, и другим, пыталась найти оправдание собственной не состоявшейся жизни... И тащила, тащила его за руку по заледеневшему асфальту, мимо темных подворотен, из которых тянуло холодным ветром, мимо теплых окон. Зачем?

Наверное, с тех пор Борис невзлюбил, когда его брали за руку. Едва он чувствовал чьи-то пальцы на запястье, как незаметно напрягались мышцы рук, холодок проникал в грудь и появлялось безотчетное желание сопротивляться.

С тех пор минуло много лет. Мама постарела, умер папа, отставной полковник, и сам Борис потускнел: давно сошло с лица очарование детства, он оказался некрасивым мужчиной с желтовато-дряблыми щеками, бесцветными глазами, с линялыми редкими волосами на голове. Так же сильно преобразилась и жизнь...

В среду в оркестре произошло событие. Дирижер представил новую скрипачку. Он сказал, что это внучка Вазнина, зовут ее Надежда Тихоновна Астахова.

Рядом с ней стояла девушка с приятным лицом, глаза смотрели тихо и чуть дерзко, как водится у современной молодежи, темные гладкие волосы были ровно расчесаны и заплетены в две косички с белыми шнурками, которые как бы подчеркивали весьма несолидный возраст девушки. Ее посадили по левую руку от Бориса, который обрадовался такому соседству. Все восемь лет он изнывал от присутствия рядом старика Вазнина и полагал, что тот изрядно портит ему настроение своим неподвижным расплощенным скорбью лицом. Теперь соседи Бориса стали оживленнее обычного: шутили, проявляли чрезмерную галантность. После первой же репетиции Борис провожал ее домой. От нее впервые узнал, что ее дед живет в маленькой семиметровой комнатке в одной с ними квартире, очень любит разводить цветы, но они не приживаются: то ли часто поливает, или еще что. Надя любит своего деда, жалеет. Он был ее первым учителем игры на скрипке. Борис спросил, почему Вазнин все время просидел в театральном оркестре – в те времена мог бы устроиться и получше.

– Спрашивала его. – Надя пожала плечами и добавила: – Будто не любит чувствовать внимания множества людей. Сказал, вид его никого не обрадует.

Борис вспомнил, что Гаревских и ее дед, кажется, и до войны были знакомы. Надя подтвердила и рассказала, что вместе они закончили консерваторию перед войной.

– Они и работали вместе в войну, – округлив глаза, сообщила Надя. – А потом дедушка в плен попал, а Леониду Витальевичу повезло, он перед этим куда-то уехал. Мне папа по секрету сказал, что если бы Леонид Витальевич не уехал, то и дедушка не попал в плен.

Борис на мгновение онемел. Он смотрел на беспечное лицо Нади, хотелось тут же все ей растолковать, стереть эту беспечность, замутить спокойствие, но утерпел, решил приберечь обмолвку юной дурочки для более важного момента.

Дома Борис вдруг рассказал матери о Наде, хотя последние годы редко говорил о своих делах. Вспоминая Надю, удивлялся, что такая симпатичная девушка и страшноватый Вазнин – родственники.

На следующий день, едва поздоровавшись с Надей, сказал ей о предстоящей поездке на теплоходе. Она тоже захотела поехать, но вдруг Раиса заявила, что записываться уже поздно, если только кто-нибудь откажется. Борис принялся расспрашивать музыкантов, не передумал ли кто, даже Гаревских спросил, хотя не любил к нему подходить. Гаревских вдруг прицепился, стал выпытывать, зачем Борису еще один билет. Борис сначала не сознавался, пытался убежать, но дирижер ухватил его за локоть и не отпускал.

– Да вот, – мямлил, все больше раздражаясь, Борис, – понадобился. Астахова захотела присоединиться. – Борис пытался высвободить локоть из цепких пальцев Гаревских, но не решался слишком сильно дернуть руку, и все больше накачивала неприязнь – он и так не любил властных замашек дирижера, которые так часто проступали сквозь напускное добродушие и вальяжность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.